

*Рассказы для программы «Родная русская литература» 5-11 классы
Составитель: Е.В. Трофимова (Куропатова)*

По семибалльной системе

В шестом классе первого урока литературы у нас не было. Потому что учительница, которую направили в нашу школу, как мы поняли из немножко досадливого и ироничного объяснения директора школы Александры Ивановны, немножко заблудилась и очутилась в другой школе – городской. Было не совсем понятно, как взрослый человек мог спутать город с деревней... Но раз такое случилось, – значит, может.

– С завтрашнего дня, – сказала нам Александра Ивановна, – уроки русского языка и литературы у вас станет вести Герасим Гаврилович Корсаков. Временно, пока не пришлют новую учительницу. А сейчас, – сказала дальше директор школы, – вы можете выйти во двор и погулять. Только, пожалуйста, тихо. Ти-хо. Ясно?

– Все ясно, – сказал Петька Резуненко и продекламировал на весь коридор: – Эта песня хороша, начинай сначала!..

Этим самым Петька выразил свое ироническое отношение к тому, как часто у нас менялись русаки и русачки. Выйдя на крыльцо, Петька уселся на ступеньке и, чтобы со всей точностью определить степень нашего невезения, принялся считать, сколько их, русаков и русачек, сменилось в прошлом году. Загнул все пальцы левой руки – не хватило, стал загибать пальцы правой руки, но сбился со счета, плюнул, выругался.

– Весной будем считать, сразу за два года... – посмотрел на меня искоса и ехидно. – Поди радуешься?

– С чего бы?

– Так Лысый же завтра придет.

Каждый учитель в нашей, как и в любой другой школе, носил какое-нибудь прозвище. Как невозможен, скажем, хлеб без корки, так не мыслим был у нас учитель без прозвища. Лысым мы называли Герасима Гавриловича Корсакова.

– Ну и что? – спросил я совсем равнодушно.

– Так он же твой дя-я-я-дя.

Герасим Гаврилович в самом деле доводился мне дядей. Однако же если учесть, что Александра Михеевна была мне не родной матерью, а мачехой, а Герасим Гаврилович был мужем тети Ани, сестры моей мачехи, то, выходит, мне он доводился таким же дядей, как и всем ученикам нашего класса, в том числе и Петьке, моему двоюродному брату по родной матери.

Аккуратное сложение и подтянутость Герасима Гавриловича несколько скрадывали его возраст. Но коротко подстриженные, меловой белизны волосы и отчетливо выделявшийся в окружении их розовый островок плешинки в такой же мере старили его. Как бы маленький плюс уравновешивался маленьким минусом, и на вид Герасиму Гавриловичу было столько, сколько было на самом деле – лет около пятидесяти пяти. Поводом для прозвища Лысый послужила, разумеется, плешинка.

Замечу, что прозвища у нас давались учителям не ради прозвища, а для того, чтобы вызвать хоть какую-то ответную реакцию, иначе оно не имело бы смысла и не обладало бы никакой жизнеспособностью. Все учителя реагировали на свои прозвища. Каждый по-разному. Случались даже истории. Порой забавные и интересные.

Но, пожалуй, то, как относился Герасим Гаврилович к своему прозвищу, было интереснее. Он был к нему до того равнодушен, словно бы плешинка розовела не на его голове. Ученики нервничали, говорили, что до него «не доходит», и испытывали всяческие средства, чтобы «довести» до Герасима Гавриловича, что он – Лысый. Средства были дерзкие, отчаянные. Например, старшеклассники, у которых Герасим Гаврилович никогда не

преподавал, «кодлой» сочиняли о Лысом разные стишки и отдавали их младшему сыну Герасима Гавриловича, первокласснику Генке, чтобы он вложил эти стишки в тетради, которые отец приносил домой для проверки. Генке наказывали популярно и строго:

– Когда твой пахан найдет в тетрадке стишки и начнет их читать, – зырь в оба, глаз с него не своди, запоминай, какой он будет. Если что скажет – тоже запомни. Завтра нам все расскажешь. Понял?

– Ага, ага. Понял, – часто кивал головой Генка, готовый с честью выполнить возложенное на него поручение.

На другой день Генку встречали на крыльце, не совсем вежливо брали за шиворот и торжественно тащили в раздевалку. Зажимали в дальнем углу, нетерпеливо начинали допрос:

– Ну, как?

Простодушно пожав плечами, Генка давал ответ:

– А никак. Я положил в тетрадку – он прочитал. Сначала упражнения прочитал, отметки поставил, потом прочитал то, что вы дали.

– Ну, ну...

– Вот и все.

– Как все? А куда дел?

– Что?

– Что! Стишки, бал-да!

– Кто?

– Кто, кто! Дурачок! Пахан твой.

– Там же, в тетрадке и остались.

– Во-о-от, Лысый! – допрашивающие в недоумении переглядывались. – Ну, а когда читал, хоть злой был?

– Не-е-е, ни капли.

– Может, хоть хмыкнул или что?..

– Не-е-е. Только ошибки исправил и все.

– Ну Лысый! Ну Лысый! Не клюет! – сокрушались старшеклассники. И видя в Генке плоть и кровь Лысого, говорили ему презрительно: – А все равно твой пахан – Лысый! Вот так, понял?! Шмаляй!

– По-о-онял! – охотно соглашался Генка и, радуясь, что ответ прошел без особых осложнений, резвым козликком вприпрыжку бежал в свой класс.

Листки со стихами, найденные учениками в своих тетрадях, шли гулять по всей школе. Стишки выучивали и декламировали, не таясь, все, кто хотел. В общем, это были безобидные творения. Правда, порой бессмысленные и почти всегда безграмотные, так как писались наспех, а главное – не для проверки. Грамматические ошибки Герасим Гаврилович исправлял, бессмыслицы жирно, как бы укоряюще, подчеркивал красными чернилами, а на полях ставил головастые вопросы. Иногда пытался дотянуть стихики до более или менее приемлемого уровня: зачеркивал отдельные слова и вписывал другие, считая, что так будет лучше. Помню в четверостишии:

Лысый спит и видит сон:

Будто в класс заходит он,

А за партами сидят

Двадцать с лысиной ребят –

Герасим Гаврилович в последней строке выражение «с лысиной» зачеркнул и выше написал «лысеньких». Исправленный вариант и был принят всеми.

Невысокий, кругленький, в защитного цвета диагоналевой гимнастерке с отложным воротником, в диагоналевых же, но синих галифе, в сверкающих сапогах, он вошел в наш класс с улыбкой: наверное, в коридоре с кем-то

говорил о чем-то веселом. И он не торопился погасить улыбку. С нею прошел к столу, положил журнал, с нею оглядел нас всех внимательно и сказал:

– Ну, что, братцы-кролики, здравствуйте? Как зовут меня, знаете? Знаете. Ну и я вас, шалунов, знаю. Как же. Ну, а за каникулы-то как, – плутовски прищурил один глаз, – подпортились, поди, а? Или нет, ничего? Возмужали, вижу. Прямо все такие раскрасавицы и добры молодцы, о которых в старинных песнях поют да сказки сказывают, – и как бы кстати спросил. Засветившись еще большим лукавством: – А вот кто их, сказки, такие интересные и забавные, порою страшные, складывает?

«Действительно, кто? – задумались мы, совсем не подозревая, что своим вопросом Герасим Гаврилович начал вступительный разговор о жанрах устного народного творчества – первой теме по литературе. И до того увлек нас этим разговором, что мы не смогли даже пофокусничать. Была у нас, как и всюду, такая традиция. Перед всяким новым учителем мы с той осторожностью, с какой путник темной ночью пробирается по незнакомой тропе, выкидывали разные номера: спрашивали что-нибудь нарочито глупое, корчили рожицы, когда учитель проходил между партами, стреляли из-за его спины в доску из резинки. Все это, понятно, делалось, чтобы разведать слабые и тугие струнки нового учителя, на каких можно играть, а на каких опасно. На первом уроке Герасима Гавриловича было просто не до этого. Только Петька Резуненко исхитрился и «отмочил» один номер. Да еще какой рискованный и необычный! Потом Петька признался, что сразу же после его выходки ему сделалось так не по себе, что у него даже шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, самый кончик носа.

Когда Герасим Гаврилович предложил нам назвать. Кто знает какие пословицы и поговорки, все стали дружно поднимать руки:

– Ученье – свет, а неученье – тьма.

– Дело мастера боится.

– Любишь кататься – люби и саночки возить

– Сделал дело – гуляй смело...

Герасим Гаврилович одобрительно кивал головой:

– Правильно... Хорошо... Верно... Так, скажи теперь ты, – обратился он, наконец, к Петьке, нетерпеливо и энергично вытянувшему вперед руку.

Петька встал гвоздиком и четко рубанул:

– Не всякий лысый – философ! – на слове «лысый» Петька сделал такой нажим, что его невозможно было не заметить.

То ли мне показалось, то ли в самом деле по классу прокатилось волной:

– Ы-ы-а-а-а-а-х-х...

Все замерли и выжидательно смотрели на Герасима Гавриловича. А он поднял брови, приложил ладонь к уху, и, наклонив голову в сторону Петьки, переспросил, вдруг сделавшись серьезней:

– Как, как? Повтори-ка!

– Не всякий лысый – философ! – не моргнув глазом и так же четко, как в первый раз, произнес Петька и сделал на слове «лысый» еще больший нажим.

Мы совсем оцепенели и ждали, что будет

Герасим Гаврилович вскинул брови на такую высоту, что на лбу его собрались все морщины и поползли назад, к розовой плешинке.

– О! – воскликнул Герасим Гаврилович, поднял вверх указательный палец и пристальным взглядом медленно обвел класс, совершенно не понимающий, как расценить восклицание учителя. – О! Вы слышите! Не всякий лысый – философ! Это же великолепно сказано! Нет, вы вдумайтесь: мало иметь лысину, чтобы прослыть философом. А?.. Мудро! Однако, Петро, – Герасим Гаврилович обратился к Петьке, – есть и другая и тоже

справедливая пословица: «Иной лысый стоит кудрявчика» (как нам показалось, Герасим Гаврилович тоже сделал нажим на слове «лысый»). И обе, твоя и моя, утверждают то, что утверждает третья: «Ум не в волосах, а в голове». Верно? – Герасим Гаврилович тоненько и весело засмеялся. Приободрившийся класс дружно поддержал учителя.

Наверное, в этот момент Петька и представил себе другой, не очень приятный исход выкинутого им номера, и у него, как он говорил, шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, кончик носа. Но поскольку все кончилось благополучно, мало того, дерзкая вылазка даже подняла Петьку в глазах учителя и учеников, это его взбодрило, и он с достойным видом воителя, по заслугам воздающего своему противнику, сказал:

– Остер топор, да и сук зубаст.

Конечно же, под острым топором Петька подразумевал себя, а под зубастым суком – Герасима Гавриловича. Хитрый Петька рассчитывал быть поощренным еще раз и не ошибся.

– Да я, брат, смотрю, с тобой разговориться, что меду напиться. Садись, Петро, великолепно! – откровенно восхищенный Петькой, Герасим Гаврилович обратился ко всему классу: – Видите, что есть такие русские пословицы и поговорки? Они так мудры, метки, остры, что, используя только их, можно устраивать настоящие словесные поединки. Как это сумели мы с Петром.

Петька, приняв, гордую позу, достойно кашлянул.

А когда урок закончился, и все высыпали во двор, Петька заключил категорически:

– Не-е-т. Наш Лысый – философ! – теперь он сделал нажим на слове «наш». Потом добавил разочарованно: – Только чуёт мое сердце, пацаны, – «в угол» у него фиг сходишь. Вот посмотрите...

Петька оказался прав.

Хождение «в угол» было одним из самых замечательнейших изобретений Петьки Резуненко, и я расскажу о нем поподробнее. Как и многие замечательные и великие открытия, оно родилось в хитроумной Петькиной голове самым неожиданным образом, в самый критический – момент. Он не раз признавался нам, что его осеняет именно тогда, когда уже все кажется безнадежным и пропавшим.

Так вот однажды, еще в четвертом классе, когда нас учила Мария Семеновна Перепелицына, Петька не выучил стихотворение и очень переживал. Конечно, только из-за того, что не выучил, он никогда не стал бы переживать. Но в тот день его должны были спросить. Знал он это точно. Потому что умел вычислять, по какому предмету и в какой день его спросят. Вычислял, хорошенько готовился, получал хорошие оценки и потом подолгу не заглядывал в учебник. Как получилось, что тому была за причина, сказать не могу, но стихотворение в тот раз он не выучил и лихорадочно думал, как быть? Что делать? Не единицу же получать, в самом деле. Сказать, что болела голова? Мария Семеновна не поверит, потому что все, в том числе и Петька, очень уж часто сваливают свои грехи на якобы больную, а в самом деле вполне здоровую голову. Тогда, может, живот болел? Нет, тоже не поверит. Какая разница, что живот, что голова. Петька лихорадочно искал какую-нибудь вескую уважительную причину. Но она не находилась. А между тем время шло. Его становилось все меньше и меньше. Наступал роковой момент.

– Рассказывать стихотворение пойдет... – Мария Семеновна склонила голову над журналом, ища фамилию ученика, который пойдет рассказывать стихотворение.

Петька был убежден, что будет названа сейчас его фамилия. И тут-то его осенило! Он оторвал от последней страницы тетради по арифметике небольшой клочок, запихал его в рот, сделал тугой шарик, и в тот момент,

когда Мария Семеновна подняла голову, Петька пульнул шарик в Юрку Шаброва.

– ...пойдет Резуненко. Резуненко!!! Это еще что такое! – Мария Семеновна даже притопнула от возмущения и негодования каблуком. – Сейчас же стань в угол!

Именно этого Петьке и нужно было. Он поспешно, боясь, как бы учительница не переменяла своего решения, но и не так уж скоро, – чтобы у Марии Семеновны не возникли какие-нибудь подозрения, – поднялся и прошагал в угол возле двери. Теперь он знал – беда миновала его. Потому что ученик, стоящий в углу, не только лишался всех прав, но и был освобожден от обязанностей, в том числе и от обязанности отвечать на заданные вопросы. От него требовалось только одно – стоять и не позволять себе новых безобразий. Пока шел опрос, Петька смиреннько стоял в своем углу. А когда Мария Семеновна поднялась, чтобы начать объяснение нового материала, он посмотрел в ее глаза так умилительно и трогательно, что сердце Марии Семеновны растаяло. Петька получил прощение и сел на свое место.

Этот удавшийся прием Петька стал использовать во всех крайних случаях, которые, как он потом признавался, почему-то стали учащаться. Накопив достаточный опыт хождения «в угол», он с присущей ему щедростью поделился им со всеми желающими.

– Трудного тут ничего нет. Главное – отмочить такое, чтобы только – «в угол», – инструктировал Петька. – Переборщишь – пропал, недоборщишь – тоже пропал. Нужно так, чтобы только «в угол».

Петька знал, что говорил. Недоборщишь – значит, быть поставленным на ноги. Ты лишаешься права сидеть, но за тобой остается обязанность отвечать на вопросы учителя. Переборщишь – значит, быть выпровоженным из класса и попасться на глаза Марии Ивановне, директору школы, и тогда все может кончиться совсем скверно, даже вызовом родителей в школу. Прав

Петька. Нужно «отмачивать» такое, чтобы только – «в угол». Работа тонкая. Но скоро мы так наловчились ходить «в угол», что успеваемость, к удовольствию учителей, заметно повысилась, но к их недоумению, в той же степени понизилась дисциплина.

Петькины слова насчет того, что у Лысого «в угол» не сходишь, оказались пророческими. Герасим Гаврилович превосходнейшим образом, точно так же, как свое прозвище – Лысый, умел не замечать все наши «номера» и «фокусы». Ну а коль так, то кому же захочется что-то вытворять? Да и, по правде говоря, вытворять было некогда. Уроки Герасима Гавриловича я бы сравнил с увлекательной книгой с интересными картинками. До «фокусов» ли, когда ты взахлеб читаешь страницу за страницей и перед тобой постоянно стоит вопрос: а что дальше, а что потом? Порассматриваешь разноцветные картинки, понаслаждаешься ярким изображением того, о чем пишется, и опять читаешь: а что дальше?

На лице Герасима Гавриловича постоянно блуждала легонькая, ласковая и немножко ироническая улыбка. Она то раздвигалась, делалась шире, то чуть-чуть угасала, но никогда не угасала совсем. За ней скрывалось все – и мысли, и намерения его, которые очень хотелось угадать, но угадать заранее было никак невозможно. Оставалось одно – следить внимательно за каждым словом, жестом Герасима Гавриловича и узнавать все в свое время. Он куда хотел, туда и вел нас.

Ответы учеников Герасим Гаврилович выслушивал обычно стоя, прислонившись плечом к косяку двери, приложив ладонь к щеке и устремив взгляд в пол. К примеру, Танька Плотникова рассказывает о разорении Рязани Батыем. Бойко рассказывает. Герасим Гаврилович внимательно слушает. На лице – улыбочка. Раз слушает, не перебивает, думает Танька, значит, правильно отвечаю. И продолжает еще бойчее, норовя припомнить,

как написано в книге. Рассказала. Довольная, раскрасневшаяся от старания, вопросительно смотрит на учителя. Гадает: «четыре» или «пять»?

«Четыре» или «пять»? – гадаем мы. – Конечно «пять». Вон как шпарила. Почти назубок. Плотничиха же! Аккуратистка, примерная ученица!»

А Герасим Гаврилович, не меняя позы, стоит и молчит, о чем-то думает. Танька нетерпеливо ждет. Весь класс ждет. Наконец Герасим Гаврилович отнимает от щеки ладонь, легонько отталкивается от косяка, раздвигает улыбку пошире, вскидывает вверх указательный палец:

– О! – направляет свою улыбку на Таньку. – О! – подходит к ней. – Как, бишь, тебя – Таня?

– Таня.

– Та-ня, – произносит Герасим Гаврилович задумчиво и нежно, склонив голову набок. Обращается к классу: – Та-а-ня. Нет, вы слышите, как это звучит: Та-а-аня... Слышите?.. Надо уметь не только слушать, но и слышать. Что суть вещи разные. Не только смотреть, но и видеть. Кинорежиссер Довженко, если мне память не изменяет, сказал: «Двое смотрят вниз. Один видит просто лужу, а другой – отраженные в ней звезды». А вот как однажды сказал мой ученик: «Пушкин пишет стихи так, будто скользит коньками по зеркалу льда». Прежде чем сказать такое, он читал Пушкина. А раз читал – значит, что-то видел, слышал, представлял, может, ощущал. «...будто скользит коньками по зеркалу льда». В чем-то все-таки прав мой ученик. А?.. Та-ня... Какой букет звуков! – немножко помедлив, продолжает: – Когда я в Могилеве служил мальчиком в лавке (Герасим Гаврилович был родом из Белоруссии. Говорил он с устойчивым акцентом: яшчык, мальчык, «г» произносил как «хч»), хозяин завел себе маленького попугайчика. Забавная такая птичка. Что бы хозяин ни сказал – бывало, почти все повторит. Года, однако, три он у него жил и все повторял. А своего ни одного слова не придумал. И не заметил я, чтобы у него руки вместо крылышек выросли.

Ничем на человека не стал похож, так птичкой для забавы и остался, – поворачивается к Таньке Плотниковой: – В хрестоматии повесть читала? – и, упреждая ее ответ, поднимает руку: – Не говори: знаю, читала. И не единожды. Значит, за всем, что происходило давным-давно в Рязани и вокруг нее, ты наблюдала как бы со стороны. Вот и рассказала бы нам, как свидетель тех страшных событий, что ты видела, слышала, переживала. Вот это нам было бы интересно послушать. А пересказывать зачем? Все читали, а кто не прочитал – пусть прочтает сам... Я знаю, ты девочка хорошая, старательная, но – «нуль»! Цена таким ответам, запомни, – «нуль».

У Герасима Гавриловича была своя система оценок – семибалльная, представляющая собой как бы наращенную с обеих сторон общепринятую пятибалльную. «Единице» в его системе предшествовал «нуль», а за «пятеркой» следовала еще «шестерка». Однако эта его система носила всего лишь символический характер. Когда ответ ученика Герасиму Гавриловичу не нравился, он говорил:

– «Нуль», – но тут же добавлял: – Хоть и с сожалением, но в журнал заносим «один».

И ставил ровненькую, как спичка, палочку. По-нашему – «кол». Иногда Герасим Гаврилович объявлял «нуль», но в журнале ничего не ставил, почему-то не находил нужным. При этом он просил ученика:

– Запомни: цена таким ответам – «нуль»...

В случае же, если ответ Герасиму Гавриловичу очень нравился, он восклицал:

– О! О!.. Превосходно! «Ш-ш-шесть»! – решительно брал ручку, добавляя: – Но, к сожалению, «пять» пишем, один запоминаем. Обязательно! Да такое и не захочешь – запомнишь! Оригинально!..

– А что значит слово «оригинально»? – спросил однажды Петька.

– Оригинально? Это значит сказать или что-то сделать по-своему, как еще никому не удавалось. К примеру, ты, Петро, иногда бываешь оригинальным.

Последними словами Герасима Гавриловича Петька был весьма польщен. И решил еще прочнее и надежнее укрепить в учителе, а заодно в учениках мнение, что он, Петька, и в самом деле не лыком шит и может быть оригинальным в чем хочешь.

Не откладывая выполнение задуманного в долгий ящик, Петька на следующем же уроке поднял руку выше всех и по собственному желанию пошел рассказывать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Начал, как и подобало ему, бойко, четко, выразительно:

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам,

Их села и нивы за буйный набег

Обрек он мечам и пожарам.

С дружиной своей, в цареградской броне,

Князь по полю едет на верном коне.

Отчеканив это шестистишие, Петька с подчеркнутой многозначительностью в голосе сказал:

– И так далее.

Герасим Гаврилович, стоявший в своей обычной позе возле двери и внимательно слушавший Петьку, поднял на него ничего не понимающий взор.

– «И так далее»? Что это?

– Ну бывает же, когда хотят сэкономить бумагу, то пишут: «и т. д.», «и т. п.», «и пр.», «и др.», а когда хотят сэкономить время, то говорят: «и так далее». Вот я и экономлю. Зачем все рассказывать, когда и так каждому ясно,

что Олега ужалила змея, и он умер, а вся его дружина с горя перепилась на холме возле Днепра. Да и сами вы говорили, – в этом месте Петька немного снизил голос, – что от пересказываний пользы никакой.

Герасим Гаврилович блуждающим взором, словно бы только что очнулся ото сна и не мог понять, где он, обвел класс и лишь потом поднял палец.

– О!.. О!.. Он рассказывает... – повернулся к Петьке: – Что ты нам рассказываешь?

– «Песнь о вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина, – ничуть не теряя достоинства, ответил Петька.

– Он рассказывает **песнь!** Говорят: из песни слова не выкинешь. Почему? Да потому что после такой операции она делается инвалидом второй группы! А он, – Герасим Гаврилович, как штыком, тыкнул пальцем в Петьку, не поворачивая к нему лица, – он, вандал! Палач! Грубой ручищей схватил чудное творение и, ничтоже сумняшеся, одним махом отсек ему голову, а туловище вместе с самым дорогим – душой – выбросил к чертям собачьим! Ты понимаешь, что ты содеял?! – обернулся к Петьке.

– Зато так – оригинально, – попробовал защитить себя Петька.

– Псев-до! Понимаешь? Не понимаешь. Значит – лже! Лже-оригинально! Преступнооригинально! Это кощунство! Начинай все сначала

Петька заметно скис. Замялся. Однако делать было нечего, начал. Но дойдя до тех слов, после которых он сказал «и так далее». Запнулся и опустил голову.

– Дальше? – как бы подстегнул его Герасим Гаврилович.

Петька утер рукавом нос, хотя делать это было совсем не обязательно.

– Забыл...

– «Нуль», – сказал Герасим Гаврилович, словно пригвоздив Петьку к позорному столбу, и взял ручку. – «Нуль», но с величайшим сожалением пишем «один»...

– Ну и Лысый! Я же говорю – философ. Его фиг проведешь. А колище мне всади-и-л! Я заглянул. Жирный и во всю клетку, – безо всякого огорчения скажет эти слова Петька потом, на перемене. А пока шел урок...

– «Песнь о вещем Олеге» пойдет рассказывать... – Герасим Гаврилович склонился над журналом.

– Можно я пойду, – донеслось робкое с задней парты.

Все разом оглянулись до того удивленные, как если бы услышали живой голос самого Александра Сергеевича. Оглянулись и увидели Вовку Стебенькова с поднятой рукой.

– ... пойдет Стебеньков, – сказал Герасим Гаврилович и отошел к двери. Никакого удивления на его лице мы не заметили.

Вовка Стебеньков был в нашем классе на особом положении. Впрочем, Вовкой его никто не называл. Учителя, разумеется, только Стебеньковым, а мы, ученики, Коланей. Это прозвище тащилось за ним еще с первого класса. А получил он его за рекордное число «колов» как в тетрадках, так и в журнале. Перетягивая из класса в класс, Лидия Степановна дотянула его до пятого. Удалось ей это только потому, что Коланя, как правило, в конце учебного года «брался за ум» и начинал учиться так, что утирал носы самым способным ученикам, и, естественно, был перетаскиваем в следующий класс. А потом, словно бы боялся потерять свое прозвище, опять лоботрясничал до самой весны. В пятом Коланя застрял. Наверное, потому, что учителя по разным предметам были уже разные и «тянули» они его не очень дружно. В шестом Коланя тоже остался на второй год. Его определили в наш класс. По-видимому, он решил остаться в шестом и на третий год: к учебе был

равнодушен так же, как, скажем, гусь к сему. Как положено лоботрясу, Коланя сидел на «камчатке», то есть на самой последней парте в углу. Спокойный от природы и апатичный от обуявшей его лени, он никому не мешал, не безобразничал. Поставив на парте кулак на кулак, он клал на них голову и со сладкой мечтательностью смотрел в окно. Смотрел, смотрел – и засыпал. Очнувшись, зевал, , потягивался и начинал чем-нибудь развлекаться. Рисовал, читал книжки или просто рассматривал в них картинки. Что-нибудь жевал, иногда пил принесенный в бутылке мед. Учителя, видя все это, никаких замечаний ему не делали: все, что не мешало работать с классом, Колане разрешалось. Домашних заданий не проверяли, за пропуски уроков не ругали. Коланю просто не замечали.

Правда, однажды, в самом начале учебного года, новенькая историчка, задав классу вопрос, посмотрела в журнал и вызвала отвечать Коланю, который как раз начал засыпать, положив голову на кулаки. Услышав свою фамилию, он даже изумился – наверное, так странно для него она прозвучала. Поднял голову, удивленно и сонно посмотрел на учительницу, после некоторого колебания стал тяжело, по-стариковски, только что без кряхтения, подниматься, но во весь рост так и не поднялся, сел на спинку скамейки и сказал вяло, через силу:

– А меня не надо спрашивать.

– Почему, – удивилась учительница.

– А все говорят, что я этот... как же... debil, – и, как бы подтверждая сказанное, изобразил на лице идиотскую улыбку. – Вам разве не говорили? У нас на всю семью – одна извилина. И та прямая. Гы-гы... – и, как мешок с овсом, сполз на скамейку.

Класс засмеялся, а учительница смутилась, – ей, наверное, и в самом деле забыли сказать о Колане, – пожала плечами и вызвала отвечать другого ученика.

Уже со следующего урока, историчка, как и другие учителя, не стала замечать Коланю. Значит, получила о нем исчерпывающую информацию.

То одиночество, в котором протекала школьная жизнь Колани, порой наскучивало ему, Видно, и его душа, от всего отрешенная, беспечно дремлющая, все-таки требовала общения с людьми. Когда это требование бывало особенно настойчивым, он поднимал руку, желая что-то сказать. Но учителя старались не замечать коланиной руки, зная наперед, что ничего путного он не скажет. Тогда Коланя, уловив момент, вклинивался:

– Вот свежую рыбу ловят в реках, соленую – в соленых морях. Это я знаю. А копченую? В копченых, что ли? – при этом лицо он делал глуповато-наивным.

Учительница географии смотрела на него насмешливо и брезгливо и мерно кивала головой.

– Какая ты все-таки темнота.

– Да? Значит, вы меня боитесь?! – картинно удивлялся Коланя.

– С чего бы это?

– А темноты все боятся. Даже взрослые. А женщины так в первую очередь...

Класс был доволен, смеялся. Учительница строго замечала:

– Ничего смешного не вижу. Просто глупо.

А то Коланя предлагал разгадать загадку:

– До каких пор волк в лес бежит?

Но вместо разгадки ему говорили:

– Да-а-а, трудновато, видно, тебе жить вот так, лаботрясничая.

– А я стойкий. Трудностей не боюсь, – не теряясь, отвечал в тон Коланя. – Как-нибудь перезимуем. Нам не привыкать.

Наверное, вот так же и на уроке литературы однажды – потребовала, напористо и безудержно, Коланина душа общения.

Речь у нас шла о былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Герасим Гаврилович объяснял нам значения употребленных в былине старорусских слов, когда Коланя беспардонно вылез:

– А я вот сижу да думаю: во время войны наши солдаты были Ильями Муромцами, а фрицы – погаными Соловьями-разбойниками, – и умолк, изобразив, насколько мог, глупое лицо.

Умолк и Герасим Гаврилович. Поднял на лоб очки, одновременно захлопнув хрестоматию, выпустил на широкий простор свою улыбку, пристально, с любопытством поразглядывал Коланю, поднял вверх палец:

О!.. О!.. Стебеньков! – рассек воздух пальцем, направил его на Коланю и обратился к классу: – Я слышал. А вы?.. Что есть такое фокус, знаете?.. – рукой, в которой держал хрестоматию, махнул на Петьку, открывшего было рот. – Да я не о твоих выходках. У этого слова есть еще и другое значение: точка, в которой собирается пучок лучей. Так вот он, Стебеньков, собрал, сфокусировал в словах, которые вы только что слышали, самую суть, соль былины. Он, – Герасим Гаврилович ткнул пальцем-штыком в Коланю, – постиг тайну произведения с необычайной, с завидной простотой! Великолепно, Стебеньков! Оригинально! «Шесть». С плюсом! Но, к сожалению...

Герасим Гаврилович поставил Колане «пятерку» с плюсом. Коланя, не ожидавший ничего подобного, смутился и спрятался за спины впереди сидящих учеников, но в душе, надо думать, был польщен. Каким бы лоботряс ни был лоботрясом, пусть хоть самым распоследним, а самолюбие есть и у него.

На следующих уроках русского языка и литературы Коланя по-прежнему бездельничал. Однако стал иногда краем уха слушать, о чем идет

речь. Говорю это с полнейшей уверенностью. Потому что, бывало, нет-нет да и бросит Коланя, как бы нехотя, какую-нибудь реплику.

Скажем, Валька Коздова написала на доске под диктовку Герасима Гавриловича предложение: «По небу плывут рыхлые облака».

Кто-нибудь найдет допущенную ошибку, скажет:

– После «л» надо писать «а».

– Верно, Почему? – повернется Герасим Гаврилович к Вальке.

– Это слово надо запомнить, – неуверенно скажет Валька Козлова.

– Можно, конечно, и запомнить. Все, что хочешь, можно запомнить. Но все-таки лучше понять. А когда поймешь, запоминать уже не надо... Но вернемся к «облакам»...

– Нужно найти родственное слово, в котором «а» стоит под ударением...

– Верно. И какое это слово?

И начинается поиск родственного слова.

– Облачко.

– Облачность.

– Облачный.

–Облачище, – предлагают ученики.

– Нет... нет... не там тщите.

– Да обвола-а-акивать, – не поднимая головы и не отрывая взгляда от окна, скажет Коланя с некоторой раздраженностью. Мол, я не стал бы вмешиваться в ваши дела, но, поверьте, надоело, слушать тошно, такого пустяка сообразить не можете.

– Слышали? Обвола-а-акивать, – повторит Герасим Гаврилович. – Все вы на одном месте топтались. Так не найдешь. А вот Ступеньков – смелый, ступил шаг в сторону и – нашел. О!..

Коланя испытывает удовольствие. Как он ни старается, чтобы это не проявлялось внешне, – ничего у него не получается – видно.

Кидать реплики на уроках Герасима Гавриловича стало для него своеобразной игрой, развлечением. А всякая игра, если она нравится, вызывает азарт. Коланя все больше и больше прислушивался к тому, о чем идет речь на уроке, и заметно меньше дремал и глазел в окно. Случалось, что Коланя поспешал и говорил что-нибудь невпопад.

– Не то, – как и каждому другому ученику, возражал ему Герасим Гаврилович.

Колане становилось досадно. Стучал кулаком по лбу, ругал себя вполголоса.

– Не знаешь, так не высовывайся, дурак...

Однажды мы писали в классе сочинение на тему «Запомнившийся мне случай». У каждого ученика такой случай нашелся. Кто-то в прошлом летом ходил в лес по ягоды и видел там зайца, кому-то посчастливилось поймать громадную щуку, кого-то прокатил на автомобиле дачник... Вот тут Петькино «и так далее» будет как раз на своем месте, потому что каждому ясно: ребяташек волнует то, что им близко, что на их взгляд, значительно, то они и описывают.

На другой день Герасим Гаврилович принес стопу тетрадей с нашими, уже проверенными, сочинениями, снял сверху одну тетрадку, положил ее на свой стол, остальные протянул дежурному:

– Раздай.

Когда все увидели свои оценки и исправленные ошибки, заглянули в тетради соседей, погалдели, Герасим Гаврилович взял отложенную тетрадь, затасканную, помятую, с кляксами и жирными пятнами на обложке.

– Теперь все послушайте, – открыл тетрадь и стал писать.

За давностью лет я, конечно, не смогу сейчас точно воспроизвести того, что прочитал нам Герасим Гаврилович, но смысл помню отлично. Был он таков.

Случаев разных полно. Что ни день, то какой-нибудь да случай. Вот хотя бы вчера. Пришел я из школы, матушка налила мне миску щей и говорит: «Ешь. Горячие щи, вкусные». И подала ложку. Деревянную. Старую-престарую. Узоров, какие были на ней, давно уже не видно. Края потрескались, местами вщербились. Этой ложкой еще мой дедушка ел. «Скоро, наверное, выбросят ее, – подумал я про ложку. – А знает ли она вкус щей? Ведь всю жизнь в них купалась? Ничего она не знает. Дерево и есть дерево». Поел и пошел в библиотеку, книжки сменить. Прихожу, а библиотекарь, Василий Хорин, как всегда, «косой» сидит, в шапке и дымит во всю сигаркой. Прямо в морду деду Дашкову. Сколько лет уже сидит Хорин среди такой уймы книг, а толку-то от этого – культуры не набрался. Вот и весь случай.

– О!.. Уразумели? – спросил Герасим Гаврилович, кончив читать. – Великолепно! По содержанию лучшее сочинение из двадцати шести. Оригинально! Это ж притча!.. А теперь полюбуйтеесь-ка, – Герасим Гаврилович приложил тетрадь к груди, показав нам текст. – Видите?

Мы увидели. Сочинение занимало всего одну страницу. Но на этой странице было сделано столько исправлений красными чернилами, что создавалось впечатление, будто на ней давили ягоды малины.

– За содержание «шесть» с двумя, с тремя плюсами, за грамматику – три «нуля»! – Герасим Гаврилович подошел к Колане, бросил на парту тетрадку, приставил к Коланиному лбу указательный палец. – У тебя ж ума

палата, на четверых хватит, еще и пятому останется, – наклонился к самому уху Колани и как бы по секрету, но громко, чтобы слышали все: – А кем ты им кажешься? – обвел класс рукой. – Задумывался? Ни черта не задумывался. Воли, усидчивости в тебе нет. А человек без воли – солома! Труха! Таких не уважаю. А чего мне тебя уважать, если ты безразличен сам себе? Значит, ты тоже себя не уважаешь. Сиди, кисни, – Герасим Гаврилович резко повернулся и направился к своему столу. Не дойдя до него шага два, обернулся: – Все-таки ты подумай...

А на другой день вслед за Петькой, потерпевшим большую неудачу со своим «и так далее», Коланя, к великому удивлению класса, вышел по собственному желанию читать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Смущенно, отвернув голову в сторону, чтобы не смотреть ученикам в глаза, он без единой запинки рассказал все от первого стиха до последнего. Герасим Гаврилович поставил ему оценку. Какую именно, сейчас не помню. Только не «шесть», к сожалению, пять пишем, один запоминаем» – это точно. Герасим Гаврилович не очень высоко ценил наше мастерство художественного чтения. Слушая нас, он часто мотал головой и морщился, как если бы, рассказывая стихотворение, мы постоянно наступали ему на больную мозоль. Сам же Герасим Гаврилович читал превосходно. Его можно было заслушаться. И мы заслушивались. Очень вероятно, что со временем он смог бы и нам, если не всем, то кому-нибудь из самых способных, передать хоть небольшую толику своего мастерства. Тогда ему меньше приходилось бы морщиться, и, как знать, может, иногда он произносил бы свое «О!.. Великолепно!» Но однажды, закончив урок, он закрыл журнал, снял очки, спрятал их в нагрудный карман гимнастерки, улыбнулся и сказал:

– Ну вот, братцы-кролики, и все. Теперь с вами будем встречаться только в коридоре, на улице... Завтра к вам придет новая, постоянная учительница, – сунул под мышку журнал, сделал прощальный знак рукой. – Будьте молодцами, – и направился к двери...

Все мы, и Коланя тоже, были опечалены, нам не хотелось расставаться с Герасимом Гавриловичем, хотя еще и не привыкли к нему как следует, хотя еще и не поняли его до конца. Явившись к нам добрым и пламенным сказочником, он прочитал нам только несколько страниц из большой интересной книги, показал кое-какие картинки и ушел... А самое-то интересное, самое увлекательное в той книге было бы потом, впереди...

На другой день в наш класс вошла новая учительница. После первого же урока Петька сказал:

– Нормальная русачка. «В угол» у нее ходить можно запросто...

Белая рубашка

У меня был старший брат Александр. Он не вернулся с фронта. Он пропал без вести где-то под Харьковом. После него осталась большая фотография, которая хранится у меня. А еще храню в памяти своей случай о моем брате. Этот случай рассказал мне отец.

Было мне лет восемь или девять. Однажды зимним утром я проснулся от стука в дверь, которая тут же с сухим морозным скрипом, будто холст разорвали, отворилась, кто-то переступил порог, и дверь хлопнула – затворилась.

– Здравствуйте.

Я узнал по голосу, это пришла почтальонка тетя Клава Соломина. Живо поднялся на локте, откинул на спинку кровати цветастый ситцевый полог. Интересно было узнать, что принесла тетя Клава сегодня? Может, наконец, письмо от Шуры? Может, он нашелся? Ведь находятся другие. Даже те, на кого приходили похоронки, вдруг объявлялись живыми и здоровыми. А на Шуру нашего ничего не приходило. Он пропал без вести. И я, как и мать с отцом, каждый день ждал, что мой брат придет или пришлет

письмо. Шли день за днем, месяц за месяцем, год за годом, но ни самого Шуры, ни письма так и не было. А мы все ждали и ждали... Может, сегодня?

Тетя Клава плохо гнуцимися пальцами – видно очень застыли они у нее – пошарила в тощеватой кирзовой сумке, достала бумажку, подала ее отцу. Он сидел возле сундука на маленькой табуреточке и починял колхозную упряжь – шорничал.

– Что это? Повестка вроде?..

– Куда? – встревожилась мать и через плечо отца заглянула в бумажку, но разобрать ничего не могла – она была совсем неграмотной.

– В милицию. К следователю, – сказал отец.

– О господи! – испуганно и тихо воскликнула мать. С просительной робостью посмотрела на тетю Клаву. – Может, это не нам?

– Чего ж не нам, когда нам, – отец вздохнул с прерывистой протяжностью. – Садись, Клавдия, погрейся, Морозьяка-то совсем сдурел... «В ка-чес-тве сви-де-те-ля...» Это по крольча-а-ат-никам.

– А я уж думала, беда какая, – приободрилась мать и отошла к плите, на которой весело шипела жарящаяся картошка.

Достукались Мишка с Васькой. Теперь, поди, засудят. – Тетя Клава опустила на лавку, поколотила валенок на валенок – ноги у нее тоже застыли.

– А то чего ж. Засу-у-дят. За такие дела по головке не погладят. – Отец положил повестку на стол.

Я понял, о чем шла речь.

В конце ноября взрослые парни Мишка Скрябин и Васька Нечаев залезли поздно вечером в стайку к райпотребсоюзовскому шоферу Станиславу Бобровскому и украли четыре пары кроликов. Тоже разводить надумали. Станислав вышел на улицу то ли до ветра, то ли еще зачем и заметил от стайки к калитке следы. В тот вечер шел легкий снежок, а к ночи стих., на беду воров. Станислав взял спички и пошел по следам. Возле

нашего дома спички кончились. Бобровский постучался к нам и, объяснив, в чем дело, попросил отца прихватить спичек и пойти вместе с ним.

Следы привели к дому Нечаевых. Побарабанили в сенную дверь. Вышла Нечаиха, мать Васьки.

«Кто там?»

«Не чужие. Василий дома?»

Нечаиха замялась, потом сказала:

«Нету. Гуляет где-то».

«Все равно открывай».

Деваться некуда. Нечаиха впустила Бобровского и отца в дом. На кровати лежали Васька и Мишка.

«Спите, хлопцы?» – спросил Станислав.

«Угу», – враз ответили парни.

«А что же одетые-то? Прямо в пиджаках? Чудно! И мешки за печкой чего-то шевелятся. Какой-то чудной дом...»

Нечаиха в слезы. Давай ублажать Бобровского. Мрл, по молодости, по глупости парни созорничали. Накинулась на Ваську с Мишкой с запоздалой бранью. Потом опять принялась упрашивать Станислава простить «дураков». Бобровский забрал своих кроликов и они с отцом ушли.

А на другой день Ваську и Мишку арестовали.

– Как жить-то станет Нечаиха, если Ваську засудят. Хворая она, – жалостливо сказала тетя Клава.

– Как миленьких засудят, Клавдия, – с каким-то безразличием произнес отец.

Васька-то парень ничего. Это Скрябин, окаянный, Мишка подбил его.

– Что теперь рассуждать. Теперь ни тот, ни другой не откроются.

– Нечаиху, говорю, жалко, – грустно покачала головой тетя Клава.

– Что ж, что жалко, – с тем же безразличием сказал отец, прокалывая шилом ремень уздечки.

– Убиваться станет. Мать же...

– Не мать она ему, Клавдия. – Отец резко протолкнул иглу в проколотую шилом дырку.

– Как жк не мать! Как не мать! – обиделась за Нечаиху тетя Клава. – Зачем, Федор Петрович, такое говорите...

Ваську посадят – ладно, заслужил он. А старуха-то за что будет маяться. Она ж не помогала ему, не посылала за кроликами.

Отец ничего не сказал. Он прошивал уздечку.

– Мишка и взбаламутил Ваську, повел его на поводке. Скрябины, те вся порода воровская и других втягивают...

– Ты, Клавдия, помнишь, как мы сюда в тридцать третьем году по осени приехали? – зачем-то спросил отец.

– Как не помнить. Помню. В землянке жили.

– А землянка меньше бани. А нас шесть душ. Ни поить, ни надеть, ни обуть – ничего не было.

– Знаю. Как же.

– Не все ты знаешь, – отец обернулся в мою сторону. – Проснулся, сынок?

– Тогда все плохо жили. Голодное время было.

– Так вот послушай. – Отец снова мельком взглянул на меня, будто тоже приглашал послушать то, что он сейчас будет рассказывать.

– По осени мы сюда приехали. Сами и ребяташки, что постарше, пошли в колхоз картошку копать. Урожай, слава богу, хороший был. Картошкой нам и заплатили. Запаслись картошкой – до весны как-нибудь дотянем. Потом я и Шурка, ему уже лет четырнадцать было, в больницу устроились. Я плотничал, столярничал, печи переделывал. Шурка воду возил. А вечером в школу ходил. Аж туда, через бор. Далеко. Домой уже к ночи приходил. Раз в конце октября такой день стоял, так тепло было, покойно. А вечером как задует холодом, как зашумят сосны. Дождь полил, а потом и в снег перешел. Прямо настоящая зима началась. А Шурка в школу отправился в пинжачке, в батинешках на босу ногу, без шапки. Застудится в такую

непогодь парнишка и сляжет. Сидим мы с матерью возле стола, ждем, прислушиваемся. Ребятишки тоже не спят, тоже Шурку ждут. А на дворе такая буря, такая буря. Будто сатана свадьбу справляет...

– Пап, а я тоже не спал? – спросил я.

– Ты? Тебя, сынок, тогда еще не было. Не родился... Зашуршало в сенях – мать к двери. Пришел наш Шурка. Ну, слава богу. А растрепанный, мокрый, холодный – смотреть жалко. Страшно смотреть, Клавдия... Мать засуетилась кормить. Достала чугунок из печка, вывалила в чашку картошку, кусочек хлеба отрезала.

«Садись, сынок, ешь – да на печку греться».

А Шурка, не пойму чего-то, мнется возле порога и смотрит боязно то на меня, то на мать.

«Мам, – позвал Шурка несмело, – я вот сейчас шел и нашел халат. Сшей мне из него рубаху к Седьмому ноября». – Вынул из-за пазухи белое и протянул матери.

Та уже принять хотела, а я говорю:

«Погоди, – и спрашиваю Шурку: – А где ты его, сын, в каком хорошем месте нашел?»

«Возле клуба. Он в канаве валялся. Я поднял...»

«Так, так... А напротив, – спрашиваю, – клуба кто живет? Ты знаешь?»

«Васса Васильевна Ткачева», отвечает.

«Верно. А работает она где?»

«В больнице».

«Прачкой-надомницей. Так?»

«Угу».

«Так чего же говоришь, что ты нашел халат?»

«Нашел, папа! Честное слово, нашел! Он в канаве валялся!»

«Верю. В канаве ты его поднял. Только не туда принес».

«А куда надо? Мама мне рубашку сошьет или Мане платье».

«Нет сын, не будет ни тебе рубашки, ни Мане платья. Ступай и отнеси халат туда, где ему положено быть. Сейчас же».

«Так никто же, пап, не видел, как я его подобрал...»

«Ну так и что ж, что никто не видел? Все равно халат-то не наш, чужой. Ступай, неси...»

Опустил Шурка голову, молчит.

«Ты слышал, что тебе сказано?»

«Я, папа, отнесу, только завтра. Сейчас холодно».

«Знаю, что холодно. Но завтра, Шура, будет поздно уже. Неси сейчас».

«В бору страшно. Я боюсь».

«Но когда ты сюда шел, ты же не боялся?»

Ничего не сказал. Заплакал.

Вот тут мать и налетела на меня дроздихой:

«Парнишка замерз, вон аж посинел, а ты гонишь его! Утром отнесет...»

– и тоже в слезы.

«Не утром, а сейчас же!»

«Пусть хоть поест...»

«Придет – тогда и поест. Ступай».

«Не сердце у тебя, а камень! Какой ты отец! Родное дитя сгубить хочешь...»

«Ступай, сын», – и дверь ему отворил.

«Отец! Слышишь?!»

Слышу. Я все слышу. Да не слушаю... Пошел Шурка...

Отец умолк. В одной руке он держал большую иглу, пальцами другой распутывал свившуюся восьмерками дратву. Я смотрел, как он это делает, а у самого сердце сжималось от жалости к брату. Я думал:

«Эх, Шура, Шура, догадался бы ты. До речки-то шагов сорок. Халат в воду – и поплывет он. А сам пережди, сколько надо, в затишке под навесом и заходи в избу».

Но нет, отца не проведешь. Не простак он был.

– Пошел Шурка, а я ему вслед говорю: «Завтра я у Вассы Васильевны спрошу, все ли халаты у нее целы, не унесло ли ветром».

Ушел Шурка. А на дворе – вой, свист. Землянка наша аж постанывает и поскрипывает, бедная. Еще пуще разгулялась непогода. Мать села на сундуку порога и плачет. Голосит прямо. Меня на чем свет стоит поносит. Ребятишки на печи тоже ревут. А я сижу у стола, гляжу на картошку в мундирах, что мать для Шурки поставила, и тоже... Тоже чуть не плачу. Думаю: вот он мосток через речку перешел... коровник минул... в бор зашел. А в бору-то жутко что делается. Не то что парнишке, взрослому человеку страшно там сейчас. Может, не надо было б отправлять, подождать бы до утра?..

Отец склонился над уздечкой, но не шил, только разглаживал пальцами ремни и о чем-то думал. Задумалась тетя Клава. Мать, прислонившись к печке, печально смотрела на заиндевелое окно. А я лежал в теплой мягкой постели и представлял, как мой брат Шура шел в непогоду по старому бору...

Жутко гудели сосны над головой. «Ток... ток...» – то здесь, то там падали шишки и сучья. Шура то и дело вздрагивал, озирался по сторонам. А ветер рвал полы пиджака, будто хотел отнять и унести белый больничный халат, который Шура, конечно же, не украл, а нашел в канаве возле клуба. Он шел только туда. А потом пойдет еще обратно через этот страшный бор, потому что другой дороги домой не было...

Представляя это, я лежал в теплой, мягкой постели. Примостившись у меня под боком, мурлыкал, будто рокотал маленький игрушечный трактор, кот Васька. У изголовья чуть потрескивали дрова в печи. Мерно тикали на стене часы-ходики. Хорошо, уютно было в доме. И от этого еще явственнее представлялось, как холодно, одиноко и жутко было в бору моему брату Шуре.

Отец, ссутулившись, ворошил уздечку. Мать, стоя у печи, смахивала покотившуюся по щеке слезу. Тетя Клава смотрела перед собой, притихшая,

скорбная. Им, наверное, тоже виделся Шура, идущий по бору в ту осеннюю ночь.

– И казалось мне, Клавдия, так далеко, будто на самый край света отправил я парнишку, – снова заговорил отец. – Болело мое сердце, Клавдия, шибко болело. Ты мать и знаешь, как болит сердце по родным детям. Наверное, думая, и впрямь сгубил я сына. Не вернется. А на дворе так завывает, так завывает. Кажется, конец света настает. Все: и мы с матерью, и ребятишки – сидим, плачем и ждем. Уже два раза рассвести бы должно, а его все нет и нет, – плечи отца поднялись и опустились от вздоха. – Надо, думаю, идти встречать или искать. И уже встал, чтобы собираться, как скрипнула в сенцах дверь...

Пришел Шурка. Вот так и хотелось на колени перед ним упасть, когда глянул на него. Да Шура ли это мой?..

«Ну, сын, – спрашиваю, – отнес халат?»

«Отнес»... – стоит у порога.

«Молодец, – подошел, погладил его по мокрой голове, – вот теперь садись, ешь. Ешь, сынок, и ложись на печку спать. Утром на работу пойдем».

Вот так, Клавдия. За кого хочешь меня считай. Ирод я, супостат, изверг? Она, – отец указал на мать, – так меня и называла, пока Шурка ходил. Может, и правильно. А только, опять же, что мне было делать?

Тетя Клава мельком взглянула на отца и, опустив голову, опустив голову, покивала в строгой задумчивости, вздохнула:

– Да-а-а...

Мать положила на стол четыре ложки, принимаясь резать хлеб, сказала мне:

– Умывайся, сейчас завтракать будем.

– Утром поднялся я, – продолжал отец, – разбудил Шурку. Может, думаю, заболел, жар у него. Нет, вроде ничего, бог миловал. Значит, на работу пойдем. Собрались, сели завтракать. Только сели – стук в дверь. Заходит Васса Васильевна.

«Здравствуйте! – и с самого порога затараторила, уж такая тараторка была: – Ой, да Федор Петрович, ой, Родионовна! Да какое же я вам спасибо принесла! Шурик-то ваш до чего же парень путный, прямо золотой! Вчера среди ночи стучится к нам. Я открыла. Он говорит: «Тетя Васса, я вот в канаве халат нашел, возьмите, ваш, наверно». Ох, да если б, Шуронька, мой, если б, детка, мой, – обняла Шурку за плечи, – а то ведь Чеснокова. Андрея Васильевича. Самого главного врача. Страсть какой строгий он человек. И что было бы со мою, если бы халат пропал, не знаю. Беда была б. Такая беда! Спасибо тебе, Шуронька, и вам, родители, спасибо! Другой бы кто поднял бы – и дело с концом, а мне бы беда. Спаситель ты мой!» – И Шурку в лоб поцеловала. Во как! – Отец засмеялся весело, счастливо и посмотрел на меня. Я уже сидел на табуретке возле стола и, дожидаясь, когда мать поставит сковороду с картошкой, вертел в руках ложку и болтал под столом ногами.

А отец продолжал:

– Выговорилась, отстрекотала, отспасибкала Васса Васильевна, раскрыла сумку, достала рубашку, старенькую уже. Новая-то она, похоже, голубенькая была, а теперь уже вылиняла, белой сделалась.

«Мой, – говорит, – Генаша уже вырос из нее, в армии служит. На-ка, Шуронька, донашивай ее ты. Это тебе мой гостинец, благодарность моя».

И сует ему рубашку. А он не смеет взять, смотрит то на меня, то на мать.

«Бери, – говорю ему, – раз заслужил, сынок, значит, бери, не отказывайся».

Взял. Спасибо сказал. А Васса Васильевна еще и носки шерстяные вязаные достала.

«И это, – говорит, – тебе. Зима ведь идет».

– Вот так. – И отец снова посмотрел на меня добрыми веселыми глазами. И мне сделалось радостно и от этого хорошего взгляда отца, и оттого, что все так хорошо кончилось.

А отец продолжал:

– Ребятишки – я и не видел как – проснулись, смотрят с печки, все аж светятся – рады за Шурку. И мать рада. И я, Клавдия, рад. Всем хорошо, все рады.

«Спасибо, – говорю, и тебе, Васса Васильевна, садись с нами за стол, поешь, что бог послал, чайку попей».

«Есть-то, – говорит, я уже ела. А от чайку не откажусь», – и села рядом с Шуркой.

И тогда, сынок, – отец обратился ко мне, лицо его вдруг посуровило, сделалось жестким, веселье потухло в глазах, но все равно они были добрыми. Строгими и добрыми, – и тогда я сказал своим детям: «Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом – вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете – знайте: все то проклято. Людьми проклято. Чужой хлеб – не насыщает. Чужая рубашка – не греет. Чужая слава – позорит. Чужое счастье – бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших детей скажут своим детям, а те своим. Меня этому учил мой отец, а отца – его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...»

Отец умолк. В избе сделалось тихо. Только одни настенные часы-ходики стучали: тик-так, тик-так... Однообразно и мерно они отсчитывали время, которому нет ни начала, ни конца. Тик-так, тик-так, тик-так...

– Вот и все, отец бросил на сундук уздечку, поднялся. – Ну, отогрелась, Клавдия? Раздевайся, завтракать будем.

– Я уже завтракала.

– Может, кто и видел, а мы – нет. Раздевайся. Успеешь, разнесешь свою сумку. Если кому радость в ней – радость и получают. А кому горе, так, может, оно и лучше, если чуток поздней. Поедим, да и я пойду к следователю.

– А что ты ему показывать-то станешь? – спросила мать.

– Что знаю, то и покажу. Лишнего не наговорю...

«Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом – вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете – знайте: все то проклято. Людьюми проклято. Чужой хлеб – не насыщает. Чужая рубашка – не греет. Чужая слава – позорит. Чужое счастье – бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших детей скажут своим детям, а те своим. Меня этому учил мой отец, а отца – его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...»

Эти слова отца я помню всегда. Может, не всегда я в жизни своей следовал родительскому совету, в чем-то грешил против его простой истины, но я знаю, что сделал бы в жизни гораздо больше дурного, если бы не помнил слов отца. И теперь я повторяю слова отца своим детям, хочу, чтобы они запомнили их и донесли до своих детей, а их дети – до своих детей...

«Подушечки»

Мы встречали второй послевоенный Новый год. Я учился в первом классе. В школе был утренник. Ученики, подбадриваемые Дедом Морозом и Снегурочкой, выходили к елке и, запинаясь, рассказывали стишки, вразнобой пели песенки, разыгрывали малопонятные, а потому и скучные сценки. Но это ничуть не омрачало праздника, потому что самая приятная, волнующая минута была впереди. Ее ждали с затаенным нетерпением. И вот наконец она настала. Дед Мороз принес из учительской эмалированный таз, с горой наполненный подарочными кулками, а Снегурочка достала из-под полы бумажку и, заглядывая в нее, стала называть фамилии:

– Кочуганова... Ерофеев... Данилов...

Ученики подходили к Деду Морозу и получали из его рук кульки. Что моя фамилия есть в бумажке Снегурочки, я не сомневался, но все же переживал, как бы Снегурочка не ошиблась и не назвала вместо меня кого-нибудь другого, ведь все-таки фамилии были сходные. Я даже не

представлял, что было бы со мной, если бы Снегурочка чего-нибудь напутала.

– Шабров... Кречетова... Куракин... – медленно и внятно читала Снегурочка.

А кульков в тазу все убывало и убывало.

Я уже стал беспокойно поерзывать на скамейке, да и вид мой, наверное, был уже кислый, когда, наконец, услышал свою фамилию. Сорвавшись с места и не пройдя половины расстояния, что отделяло от Деда Мороза, я пролепетал блеклым голосом «спасибо» и протянул вперед сразу обе руки. Получив первый в жизни новогодний подарок, я, захлебываясь от радости, вприпрыжку побежал к выходу.

На улице, сглатывая слюну, с бережливой нетерпеливостью открыл кулек. В нем были бледно-зеленые карамельки – «подушечки». Точь-в-точь такие же, какие мать приносила иногда из магазина. Только, казалось мне, у этих вид был особенный – праздничный, и блестели они по-другому – игриво и весело. А запах от них исходил до того соблазнительный, что у меня слегка затуманилась голова.

Двумя пальцами, будто пинцетом, я осторожно подхватил одну «подушечку», положил на зуб и раскусил. Весь рот обволокло густым холодящим ароматом. Я ощутил такое удовольствие, какого никогда до сих пор не испытывал. Язык стал перебрасывать осколки конфеты от одной щеки к другой, осколки таяли, таяли и вдруг исчезли. И сразу на душе стало как-то неуютно. Я очень удивился этому, даже повел плечом.

Тогда взял две «подушечки»: хрум, хрум.

– Хруп, хруп, – в такт отозвался снег под валенками. Это вышло неожиданно и забавно. Я тут же оправил в рот три «подушечки», и у меня получилось нечто иное: хрум-хруп, хрум-хруп, хрум-хруп...

Потом обнаружили и другие варианты. Оказалось, их было очень много, и разнообразие из зависело не только от того, в какой последовательности я раскусываю «подушечки» и переставляю ноги, но и от

того, как часто раскусываю «подушечки» и как часто переставляю ноги. Самый интересный вариант, заключил я, тот, когда поживее работаешь челюстями и шагаешь ровно, без спешки. Тогда получается: хрум, хрум, хрум-хруп.

Я так увлекся этой необычной игрой, что не заметил, как подошел к своему дому. Возле ворот сунул руку в кулек, но там уже ничего не было. Неужели? Заглянул – пусто. Только несколько изумрудной поблескивающих осколочков лежало на дне. Я разочарованно высыпал их на ладонь, слизнул, а кулек скомкал и забросил в сугроб.

В дом я вкатился вместе с густыми клубами холодного воздуха. Мама хлопотала у печки. Отец сидел за столом и по-купечески, из блюдечка, пил чай. Это была одна из странностей моего отца: перед тем, как начать есть, он всегда напивался чаю. Посреди стола стояла тарелка с пышными румяными пирожками. Я догадался по запаху, что это были мои любимые пирожки с морковкой.

– Вот и сын пришел, – обрадовалась мать, – сейчас завтракать будем. Ну, как там, на елке, хорошо было?

– Ага, здорово! – ответил я разухабисто, забрасывая на вешалку шапку.

– И подарки Дед Мороз давал?

– Ага! «Подушечки»! – все тем же тоном сказал я и сбросил пальто.

– Ну, угости нас с отцом. Мы ждали.

– А? – переспросил я, и мои глаза встретились с добрыми, ласковыми глазами матери.

– Мы, говорю, ждали, когда гостинца нам принесешь.

Голова моя мгновенно, как подрезанная, упала на грудь, пальцы, липкие от «подушечек», затеребили пуговицы на новой, сшитой матерью специально к празднику, куртке.

– Ты чего, сынок?

В ответ я шмыгнул носом.

– Так где же твои конфеты?

Я виновато засопел.

– Мимо Волосниковых шел? – зачем-то поинтересовался отец.

Я утвердительно кивнул.

– Тогда понятно. Подарок Пальма у него отобрала.

– Да ну. Где ей, Пальме, отобрать, она ж меньше нашей кошки, – возразила мать. – Наверно, когда обметал валенки, положил кулек на лавку и забыл, – мать глянула в заиндевелое окно. – Вроде, правда, лежит.

– Иди, заберу скорей, а то и впрямь Пальма учует, прибежит да съест, – сказал отец вкрадчиво.

– Или уже сам съел? – не столько вопросительно, сколько утвердительно сказала мать с обидой и уже с открытым укором.

Я засопел еще гуще, чем, разумеется, и подтвердил предположение матери.

– Вот, молодец, сын, так молодец. Угостил родителей. Хоть бы по одной конфеточке принес. Петя с Шурой, бывало, всегда принесут. А ты в кого такой?..

Мне было мучительно стыдно. Я настойчиво искал выхода из своего унижительного положения. Но что можно было найти, что придумать? Все против меня. И все-таки я решил прибегнуть к своему испытанному приему. Кстати, подсказанному самой же матерью. Однажды я что-то такое натворил – не то залез в крынку со сметаной, не то в туесок с медом – и стоял перед ней, как и сейчас, отпустив голову. Мать, тряся пальцем возле моего носа, строга сказала: «Знаю я тебя: когда не виноват – плачешь, а виноват – так только сопишь. Вот и сейчас...» Эти слова матери я намотал на ус, при каждом разоблачении стал пускать слезу, и это почти всегда помогало мне избежать шлепков и подзатыльников. Конечно, сейчас был совсем не то случай, но у меня другого выхода не было, и я решил: испытать – не убыток, авось да поможет. Страдальчески перекошил лицо, я изо всех сил стал выдавливать слезу, одновременно тряс плечами и силился зареветь.

Но мои старания вызвали на этот раз совсем не ту реакцию, на которую я рассчитывал.

– А! Ты еще и плакать! Чтоб тебя!.. – Обида матери вырвалась наружу. И схватив оказавшуюся под рукой мокрую тряпку, она замахнулась было на меня, но отец остановил ее:

– Подожди.

Он обратился ко мне ласково, для моего отца даже чересчур, настораживающе ласково в таком случае.

– Сегодня праздник, Новый год. А ругань с праздником не дружат. Садись сынок, за стол и поешь. Вот пирожков мать напекла, твоих любимых, с морковкой, – отец подвинул тарелку с пирожками ближе ко мне, к самому краешку стола, и еще ласковее: – Садись, ешь.

Лицо отца было светлым и улыбочивым, оно могло бы вызвать доверие, если бы не глаза. Серые, острые, они смотрели из-под навеса лохматых бровей насмешливо и ядовито, в них была непонятная гипнотическая сила, и я почувствовал себя ничтожным жалким существом. А во рту стало сухо. И так отвратительно горько, как если бы я только что жевал душистые «подушечки», а степную выжженную солнцем полынь.

– Так садись же, ешь...

...Моя дочь покупает иногда «подушечки» – любит – и угощает меня. Я беру конфету, но не сразу решаюсь ее съесть: раскушу, а вдруг она – горькая. Как полынь.

Первое первого

Помнится, в третьем классе мы учились во вторую смену. Однажды зимой, в самом начале урока, электрические лампочки мигнули раз, другой и погасли. Мы обрадовались: сейчас Мария Семеновна отпустит нас домой. «Забегу в магазин и куплю повидла», – решил я. У меня в кармане как раз был рубль – мать на кино дала. Кино я любил, повидло же любил больше

всего на свете. Наверное, потому, что его редко привозили в магазин. Два дня назад – привезли. Надо успеть, а то разберут.

Но, к нашему разочарованию, Мария Семеновна не отпустила нас домой. Она очень ценила время.

– Подождем, – сказала учительница, – может еще загорится. А пока давайте помечтаем. Мечтать можно и в темноте.

И мы стали мечтать. О будущем. О том времени, теперь – после войны – не таком уж далеком, когда жизнь будет интересной, веселой, все люди будут грамотными, и всего будет сколько хочешь. Например, рассказывала Мария Семеновна, приходи в магазин, выбирай себе костюм, рубашку, ботинки, набирай полные карманы пряников, печенья, конфет... Что увидишь, чего захочешь, то и бери. Сколько хочешь! А самое главное – бесплатно, без денег. Денег при коммунизме не будет. Они станут ненужными, раз все бесплатно.

В то, что рассказывала Мария Семеновна, верилось, потому что очень этого хотелось, и как-то не верилось, вернее сказать, было трудно вообразить: всего сколько хочешь, а, главное, бери все так, без денег.

– И повидло будет бесплатно? – спросил я, переборыв в себе робость.

– Все будет бесплатное, – ответила Мария Семеновна. – Значит, и повидло тоже.

– И его дадут хоть банку?

– Хоть банку, – засмеялась учительница. – Если съешь.

Если съешь! Да мне и трех банок мало будет...

О чем рассказывала Мария Семеновна дальше, я как-то плохо слушал. Я представил себе, что уже настало счастливое будущее и я ем бесплатное повидло. Прямо из бочки. Ложкой. И без хлеба – так больше влезет.

После звонка я первым выбежал из класса, оделся и стремглав помчался в магазин. У прилавка была длинная очередь – давали пшено. Я кое-как пробрался запечку и увидел: одна на другой стояли две фанерные

бочки. С повидлом. Значит, одну уже распродали. «Не устоят, конечно, до коммунизма и эти», – тоскливо подумал я.

Но вспомнив, что коммунизм – это не только бесплатно, но всего сколько хочешь, успокоился: ну не устоят эти, так привезут другие. Достанется!

На рубль, что похрустывал у меня в руке, решил все-таки сходить в кино, а повидла наемся при коммунизме, а то очередина вон какая, да и сколько его дадут, на рубль-то.

Дома я взхлеб рассказал отцу и матери, как здорово будущем: всего сколько хочешь, а главное – бесплатно! И в заключение провозгласил:

– Я себе бочку повидла возьму!

– Дай бог, – сказал отец, – дай бог. И когда же это будущее настанет?

Учительница говорила?

– Я же говорю: когда всего будет сколько хочешь и – бесплатно.

Отец отрицательно покачал головой.

– Раньше, сынок, много раньше. Чтобы у тебя повидло было, что нужно сделать?

– Бочку из магазина прикатить, – ответил я, не моргнув глазом.

– Верно рассуждаешь, – улыбнувшись, поощрил отец. – А еще раньше?

Я пожал плечами.

– Запечатать ее. Так? Так. А до этого? Повидла в нее наложить. А перед тем? Яблок, груш, слив наростить. А сначала садов насадить. А иначе как? Задом наперед коня не запрягают. А первое первого – надо всем работать научиться. Мария Семеновна ведь так вам объясняла: будет каждый работать сколько надо, по совести, будет всего сколько хочешь. Так она говорила?

Я шмыгнул носом.

– Или ты не слушал – бочку с повидлом открывал?

Отец немного ошибся в своем предположении. Тогда, на уроке, я не потрудился даже открыть бочку. Начал – я уже говорил об этом – есть повидло сразу. Ложкой. И без хлеба – чтобы больше влезло.